

ДИЛІЯРА
КОЗАДАЕВА

НЕТ

Диляра Козадаева

Нет

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=32492248

ISBN 9785449075147

Аннотация

Герои этого сборника – уборщица, влюблённый мужчина, таксидермист и жертва насилия – ничем не связаны. Но как у людей есть общий предок, который делает всех братьями, так и их объединяет одно качество, общее для всех, кто был и будет рождён – боль. Именно она – главная героиня этой книги. С ней мы рождаемся и с ней уходим в могилу. Мир не открывает человеку свои объятия. Он говорит ему: «Нет», и таков будет ответ на все человеческие желания, цели и идеалы. Нет. Мир создан не для тебя.

Содержание

Каста неприкасаемых	6
Те, кого хоронят за оградой	9
Мясо	19
Предисловие	19
1 глава	21
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Нет

Диляра Козадаева

© Диляра Козадаева, 2018

ISBN 978-5-4490-7514-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Я благодарю своего мужа, свою семью и всех равнодушных людей за помощь в подготовке этой книги. Я вам признательна, но все же боюсь, что вынуждена вас разочаровать. Ваша помощь и поддержка превратилась не во что-то хорошее и красивое, а в то, что вы прочтете ниже. Внизу, как под землей, будет только сырость, темнота и слепая, червивая возня внутренней жизни. Не стоит читать эту книгу. Лучше займитесь чем-нибудь поприятнее.

Потому что сейчас будет больно.

Мерзко.

Мокро и липко.

Если не будет – проверьтесь у психиатра на наличие скрытых патологий.

Сейчас – самое время остановиться. Если вы прочтаете хотя бы один рассказ из этой книги, расчитать, развидеть и забыть его уже не удастся.

Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или когда-либо жившими людьми случайно.

Каста неприкасаемых

– Закройте окно, а!

Все удивленно обернулись к ней. Уборщица вновь опустилась к ведру с водой и резким, будто обиженным движением с плеском бросила в него тряпку. Она дернулась, чтобы подняться снова, но холодная волна чужих глаз в одно мгновение потушила этот порыв и она продолжила, уже жалея и не решаясь поднять головы:

– Солнце светит мне прямо в лицо, пятна в глазах. Ничего не видно.

На секунду, мучительно долгую секунду в вылизанном, белом помещении офиса повисла тишина. Женщина наклонилась поближе к полу, будто искала укрытия и пыталась слиться с серыми плитками, тряпкой и ведром.

Каждая плиточка принадлежала к касте неприкасаемых предметов – по ней всегда ходили только в обуви, отгораживаясь от её холода и грязи, занесенной сюда безразличной толпой в белых воротничках. Туда же – унитазы, раковины, грязная посуда, столы в фуд-корте. Туда же – и ее.

Казалось, тряпка на конце швабры вырезана из ее халата или халат перешит из тряпки – границы стирались вместе с грязью, и к этой женщине, как и к полу, уже нельзя было прикасаться. Она – лишь продолжение своей швабры. Когда она входила в комнату, ничье движение не выдавало ее

присутствия, словно все сотрудники офиса были отделены от нее резиновой подошвой.

Она тоже не решалась отделиться от пола и встретиться глазами с кем-то живым. Все вокруг нее суетились, жонглировали в разговорах длинными, сложными словами, казавшимися языком древних богов с недостижимых вершин, каждое их движение было преисполнено смысла, важности и, главное, каждое движение, каждый щелчок клавиши стоили больших денег. Все, что они делают, стоит слишком дорого. Они получают огромные деньги. Цифры, которые выглядывали из стопок бумаг, кофе-машин, кулеров с водой и кожаных кресел казались из сторбленного положения женщины такими большими, такими чудовищно внушительными. Все в этом офисе казалось огромным, значительно больше ее самой. Иногда, словно в кошмарном сне, ей казалось, что олимпийские боги в экстазе своей пляски раздавят ее, не заметив, одним взмахом руки – уволена! не нужна!

Ее выцветшее от усталости лицо сливалось с грязным полом и мутной, серой водой в ведре, а их лица были ничем иным, как продолжением чистых, белых стен и огромных окон, освещенных золотом и роскошью солнечных лучей.

Но вдруг что-то толкнулось в ее груди, то ли усталость, со временем зачерствевшая в безразличие, то ли мелкая, завистливая обида, рожденная беззащитностью и страхом. Это что-то толкнулось и вырвалось наружу резкой, громкой фразой. Случилось то, что не должно было произойти, что-то

выплеснулось из надежных плотин негласных правил и обдало всех холодной волной. На секунду всеми овладело ощущение.

– А вы не смотрите туда, – отозвалась одна из белых фигур, освещенная солнцем. Она стояла ближе всего к окну, и все, что было нужно – это вытянуть руку и взяться за ниточку, державшую жалюзи. Рука оставалась неподвижной, и солнце по-прежнему освещало его лик, преисполненный достоинства, божественной грации и магии денег.

– Это последние солнечные деньки, наслаждайтесь. Скоро снова будут дожди.

На остальных фигурах, где-то в вышине, мелькнула тень ухмылки. Стрекот клавиш, треск черных машин на столах и гул незнакомого олимпийского языка, прервавшись на мгновение, грохнул с прежней силой, заглушив фразу, повисшую в воздухе. Поток звуков, цифр и людей, плывущий по коридорам и циркулирующий в кабинетах, быстро вернул всё на свои места.

Женщина средних лет с почерневшими мешками под глазами, крупными, мясистыми морщинами и пятнами в глазах от ослепительного солнечного света больше не поднимала головы.

Те, кого хоронят за оградой

Это было наше лето. Я помню ее посреди раскаленного асфальта, пыльной городской зелени и желтого, кругом разлитого света. Каждый день у нее высыпало все больше веснушек, коричневых на смуглой коже. Когда мы встретились, она была еще по-зимнему бледна, а когда она убежала от меня (нет не ушла, такие люди непременно бегут, подскакивают, пританцовывают, летят по воздуху, но не идут), ее щеки и нос, бронзовые от загара, были усыпаны коричневыми точками, как у озорной девчонки из детских книжек. Словно эти веснушки отсчитывали мой срок. Когда я целовал их, горячие и соленые от солнца, я благодарил все существование, от земли и до неба, от хаоса до гармонии, от Бога до каждого атома – благодарил все подряд за то, что меня наградили таким счастьем. Каждая наша минута была переполнена любовью, каждое мгновение наполнялось смыслом, и, словно разбухая от этого груза, секунды становились тяжелыми, долгими и неизгладимыми. В эти дни я прожил целую жизнь, целую долгую, полную, счастливую жизнь.

Это она заразила меня жизнью. Кажется, ее энергия передается воздушно-капельным путем. Когда она смеется, искорки ее радости разлетаются вокруг и оседают в легких.

Мы с ней часто ездили на холмы. Наш город утопает в чаще, по ободку которой протянулась цепочка холмов, зарос-

ших лесом с широкими голыми проплешинами. В то лето они были особенно зелеными, потому что я смотрел на них влюбленными глазами. Трава била по ее коленям. В пахучей зелени прятались муравейники, красные россыпи земляники и пятнышки цветов. Она облизывала веточку и клала ее на муравейник. Когда она слизывала кислоту, высунув язык, все во мне поднималось так неудержимо и твердо, что мне приходилось закрывать глаза, будто она меня слепит. Она стягивала с себя футболку и, свернув ее как гамак, наполняла её ягодами, которых мы ели молча, под тихим куполом неба.

Я ни разу не видел на ней лифчика. Представляя себе женщину – не конкретную женщину, а просто любую, чистый образ – я воображал ее в нижнем белье, всегда в строго гармонизирующей и неразделимой паре бюстгалтера и трусиков. Образ женщины был неотделим от этого комплекта, как кожа неотделима от тела. Но она, моя девочка, живая и живущая, не вписывалась ни в один мой стереотип. Она не носила бюстгалтер и часто – даже не уверен, что это было осознанно – недвусмысленно дразнила мужчин тенью своих сосков за ткань блузки или футболки. Она никогда не пользовалась макияжем, но ее глаза блестели, часто вспыхивали озорными огоньками и мерцали на солнце, губы горели от очередного замысла, они постоянно двигались в улыбке, смехе и болтовне – она вся была яркой, в ней выделялось все и сразу, будто ее подкрашивала сама природа.

Там, на холмах, ее губы часто были перепачканы земляникой, и она набрасывалась на меня, играла, дралась, снова играла, оставляя в мыслимых и немыслимых местах большие красные пятна. Наша одежда сплошь была усеяна пятнами от ягод. Авторский, неповторимый дизайн.

Я покупал ей вино. Иногда она пила его так жадно, что красные капли катились по подбородку вниз и падали на голую грудь. Я не пил, но слизывал их и пьянел быстрее нее. Она хохотала, толкала меня, мы падали и катились по траве, как сочные, полные жизни плоды.

Она часто пела. Я садился на траву и слушал ее голос. Я смотрел на нее снизу вверх, как жрец на древнюю богиню. Она стояла лицом к простору, раскинутому перед холмом – перед лесами, небом, летевшими птицами. Она протягивала руки солнечному свету, щурилась, и солнце в ответ грело ее лицо. Казалось, солнце наполняло ее, и она умела хранить внутри его свет, иногда выдавая себя и расплескивая солнечные капельки из глаз и губ, как из переполненной чаши. Ветер подхватывал ее голос. Казалось, он раздается до самого горизонта.

Сегодня был первый солнечный день после целой недели дождей. Мы приехали на закате. Солнце медленно тонуло в безлюдной тишине. Трава звенела, внутри нее все летало, жило и плодилось, кузнечики стайками отскакивали от ног, как брызги. Она помчалась на холм, навстречу ему, срывая с себя одежду прямо на ходу, будто собиралась ки-

нуться в небесный простор как в море. Я запер машину и побрел следом. Слишком земной, слишком медленный. Когда я говорил ей о том, что рядом с ее красотой, в свете ее волос, в волнах ее голоса, я чувствую себя уродливым и ничтожным недоразумением, она хмурилась и, сердясь, чуть ли не топая ногами, как озлившийся ребенок, строго ставила передо мной вопрос: «Что это за любовь такая, если она заставляет тебя чувствовать себя жалким и лишает тебя человеческого достоинства?!»

Я хочу, чтобы моя любовь делала тебя сильнее.

Я хочу, чтобы весь мир любил тебя так, как люблю тебя я.

Я хочу...

Я хочу..

Я хочу.

Я хочу!

Я выполнял все, что следовало после этих слов.

«Я хочу бежать голый по вершине холма!»

Она бежала вверх. Я неторопливо поднимался за ней, подбирая сброшенную одежду. Тайком, одним движением, я подносил ткань к лицу и вдыхал всей грудью. Ее запах врывался в меня и взрывался в легких, как фейерверк. Молоко, мускат, что-то детское. В моей душе молочно-мускатный взрыв.

Она бежит, не оборачиваясь. Ее волосы внезапно подхватил ветер, взметнул порывом. Голая белая спина мелькает впереди, розовые соски ласкает жаркий встречный поток.

Мне трудно дышать.

Я на секунду закрываю глаза, чтобы перевести дух. В какой-то момент красоты становится так много, что душа уже не в силах ее вынести, прогибаясь под грузом и скрипя на изломе, она молит о пощаде. Сколько счастья способен вынести человек?

Вдруг в темноту под веками одним ударом ворвался короткий, резкий крик. Я оступился от неожиданности, и тело, накренившись, коснулось руками земли, но тут же отскочило, как пружина, и бросилось к ней, наверх, не разбирая дороги. В два прыжка я достиг вершины. Тело само, повинаясь голому, дикому инстинкту, схватило ее, как зверь, и закрыло руками, схватило так крепко, что волосы, зажатые между нами, натянулись на ее голове и дернули ее вниз, но она не отстранилась, застыв всем существом, от кончиков волос до взгляда. Глаза неподвижно смотрели вперед, на единственное дерево на холме. Большое, как в сказке.

Перед нами – никакой опасности. Все тот же неподвижный простор, разлегшийся внизу, вся та же слепая синяя пустота сверху. Красное зарево оставляет густые желтые следы на пляшущей от ветра траве. Брызнуло и на ее кожу, и на мои руки на ее груди, блеснуло в волосах. Все залилось светом до самого горизонта, словно и нет на свете ни одного черного пятна. Только дерево, закрывшись густой листвой, как ладонью, прятало за ней единственный клочок темноты. В тени огромного ствола, будто прижавшись к нему и прячась

от живого света, стоял, накренившись, простой деревянный крест.

Он старчески клонился к земле. Доски, бывшие оградой, давно распались и лежали вокруг ствола, все черные от древесной гнили и заросшие свежей травой. Гвозди в досках упрямо торчали вверх и вместе с цветами тянули к небу свои шляпки, но солнце к ним не прикасалось. Только трава, вытянувшись на просторе во весь свой рост, покачивалась на ветру и, кренясь, припадала к древку креста на мгновение, но тут же отстранялась, как от испуга. Корни впивались в могилу.

Кто посадил его здесь? Вокруг не было ни одного другого дерева. Ни одной другой могилы, ни одного человека. Только мы трое.

Она шевельнулась под моими руками и, освободившись, двинулась к кресту, не отрывая от него глаз. Ветер снова подхватил ее волосы и игриво взметнул вверх, но, словно почувствовав, что ей не до него, тут же бросил их обратно на плечи, как обиженный мальчишка.

Голая женщина шагала к могиле на холме.

Я побрел за ней. Солнце блестело в ее рыжих волосах. Она вся превратилась в настороженного зверька, кралась тихо и осторожно. Ее белые ягодички, мелькавшие в зелени – откуда это вдруг? – взволновали меня сильнее, чем когда-либо.

Время застыло.

Внутри меня поднялась горячая волна и толкнула меня вперед – догнать, прижать к себе, впиться...

Ее тело заслонило для меня и дерево, и простор, и все кресты на этом свете. На мгновение, лишь на мгновение я забыл обо всем, что могло существовать за пределами ее бедер. Ни смерти, ни прошлого. Только она и ее темная, солоноватая, сочная глубина, засасывающая меня. В эту секунду я бы взял ее где угодно, даже на могиле – никакой могилы для меня уже не существовало.

Вдруг она остановилась и, указав пальцем куда-то мимо дерева, вскрикнула:

– Лисенок! Смотри, лисенок!

Из-за толстого ствола выглядывала острая рыжая мордочка с черными бусинками глаз. Она застыла, смотря на нас, кажется, зверек напряженно думал и пытался угадать, кто мы такие, что за диковинные двуногие существа. Все еще кровью и мыслями внизу, я на секунду попытался сообразить, откуда он мог взяться на голом холме, так далеко от леса. Но мысли ворочались, как в толще воды, вязко, глухо, с трудом. Я просто стоял и смотрел на нее, как деревянный истукан, родной брат этому дереву и старому кресту. Желание шевелилось во мне, тянуло все мое существо вниз. Какая она красивая сейчас, в этом солнце, в этой траве, в этой минуте!

Словно издеваясь и желая усилить мой приступ, она присела на корточки, спрятав груди за коленками, и позвала зверька, должно быть, каким-то звуком, но я его не услышал.

Ее тело распустилось мне навстречу и как будто дразнило меня и звало, не обращая внимания на свою хозяйку, увлеченную лисенком и старым крестом. Напряжение во мне натянулось до предела и лопнуло так громко, что мой разум оглушило. Я одним прыжком настиг ее и схватил сзади. Она упала на землю под весом моего тела. Лисенок взметнулся и бросился вниз по холму. Над крестом тревожно шевельнулись листья.

Она попыталась подняться, заелозила ногами, выбираясь из-под меня, но я надавил сильнее. Её волосы разметались по земле, брызнули мне в глаза, полоснули по губам. Рыжие реки среди зелени и ягод. Они пачкали ее щеки соком и пугались в золотых линиях. Бедрями и грудью я давил на нее изо всех сил. Одной рукой я нащупал под собой ширинку и рванул ее вниз, а другой рукой прижал ее голову к земле. Мои пальцы, с несмываемой чернотой от машинного масла и сигарет, потерялись в солнечной, теплой копне.

Я знал, что ей это нравится. Хотя в эту минуту я вряд ли хоть что-то знал, кроме того, что так сильно хочу ее взять, так страстно и так непреодолимо, что просто должен сделать это, и выбора у меня нет. Я был тверд и налит кровью, смешанной со страстью, любовью, вожделением, благодарностью, восхищением, радостью, безумием, инстинктом – все это вертелось во мне, металось и рвалось наружу, толкая меня вперед, в нее, как в бездну.

Она застонала подо мной. Листья зашумели громче. Ве-

тер на мгновение поднял кончики ее волос с земли и бросил мне их в лицо. Я припал губами к ее затылку. Она обмякла и застонала громче. Казалось, ее голос раздается до самого горизонта и заполняет собой все пространство. В эту секунду мир был пуст, его не существовало, я умирал и рождался заново в ее тепле, впиваясь в него, как в младенец в грудь самой жизни. Я забыл дышать. Забыл существовать. Я стал ее частью, изливаясь в нее, и секунда этого потока, казалось, длилась целую вечность, вечность, в которой умирали, рождались и снова умирали миры, пока время не сделало круг и вселенная не родилась снова, бросив нас вновь на этот холм, в эту траву, в золото ее волос.

Все кончилось.

В это мгновение я мучительно застонал и вскрикнул, как новорожденный.

Родиться заново под солнцем, у старого креста, в свежей зелени и пустой, безлюдной тишине. Разве ожидал я такого, когда увидел ее в толпе и решил подойти к ней?

Теперь она тяжело дышит подо мной.

Мы не шевелились. Ветер проносил над нами минуту за минутой, смешивая их с летним жаром и запахом травы. Над нами и вокруг нас – бездны пустого пространства, лишь там, внизу, на доньшке заполненного чем-то ярким, живым и бродящим – городами, дорогами, машинами, вывесками, уличными фонарями, людьми. Разве они существуют? Я вдыхал запах ее тела и не мог в это поверить.

Я готов умереть здесь и сейчас. Мир дал мне все, что он может дать, все сокровища, все счастье земное. Тот, кто лежал в земле, недалеко от нас, безмятежно молчал, уставив в небо свой крест, как неподвижный, навеки застывший взгляд. Все кончилось. Все кончилось. Все кончилось – для него и для меня. И только ветер шумит над нами.

Вдруг из-под меня, из-под золотого облака волос, как из-под земли, раздался тихий голос:

– Я люблю тебя.

Фраза тут же растаяла в горячем воздухе. Ее волну подхватил ветер и унес далеко, за алый, налитый кровью горизонт. Эти слова сорвались с края земли и канули в Лету.

Она уже давно меня не любит. Но дерево по-прежнему стоит на холме, а под ним все так же молчит крест, пряча в тени листвы свою тайну – чье-то имя и чью-то жизнь. Я хожу туда каждое лето. Еще в том, нашем году я вырезал в стволе ее имя. Каждый год тем же ножом я ставлю под ним зарубку. Их уже восемь. Когда надрез еще свежий, только распустился под моим лезвием, из него выступает капля сока. И каждый год я думаю: «Как мои слезы». Дурак.

Я собираю ягоды в кулак, вдыхаю запах и набиваю их в рот. Сладкий сок течет по лицу, пачкает руки. Пара красных капель срывается на одежду.

Но моя жена знает, как отстирывать такие пятна.

Ничего страшного.

Мясо

Предисловие

У этой истории нет начала и нет конца. Само собой, любое повествование начинается с определенного момента, и строки уже тянутся, одно слово следует за другим – оно уже началось, верно? Вы читаете, а я уже что-то рассказываю. То самое первое слово грянуло, понеслось... «Да будет свет!». Только в моем случае, никакого света не будет. Это не просто история. Это история болезни и содержание у нее будет соответствующее. Казалось бы, что может быть проще, чем отыскать начало недуга? Вспомни тот день, когда начались первые симптомы – вот тебе и отправная точка. Но что делать, если ты всю свою жизнь была больна и вспомнить тот самый первый день невозможно. Всё началось ещё до того, как у твоей памяти включилась функция записи. Тогда с чего начинать? С первого сознательного воспоминания? С родов? Со встречи родителей? Начну, пожалуй, с их похорон.

Неделю назад умерла мама. Три недели назад – отец.словно та связь, которая однажды возникла между ними, не исчезла, и, связанные одной веревкой, они вместе упали в бездну, один за другим.

Когда последний ком земли упал на мамину могилу, перед

глазами что-то мелькнуло, будто кто-то щелкнул пальцами перед лицом, и я проснулась. Что-то не так. Заполняя бумаги в морге, отсчитывая деньги в агентстве ритуальных услуг, принимая соболезнования, наблюдая за тем, как гроб плывет вниз по лестнице на чужих плечах, я чувствовала – что-то работает неправильно, где-то сильнейший, критический сбой. Но хлопоты заглушали сигнал тревоги – маму нужно было похоронить. Отца хоронила не я. Я узнала о его смерти из газеты, с задней страницы с некрологами. Когда я увидела знакомое имя в черной рамке, в голове промелькнула единственная мысль: «Какое-то знакомое имя... Ах да, оно у меня в отчестве. Это же отец», – и я перевернула страницу.

Когда погребение, наконец, закончилось, я поняла, что было не так.

Мне их не жаль.

1 глава

Когда я рассказываю о себе, в какой-то мере я рассказываю и о своих родителях. Хочу я того или нет, на какую-то часть я состою из них обоих. Даже если они ненавидят друг друга до тошноты, им придется смириться с тем, что они неразделимо слились в одном человеческом существе. Обнявшись однажды, они породили человека, в котором их объятие застыло навсегда. И ему, этому человеку, уже никогда не вырваться из их рук.

На моем лице глаза отца соседствуют со скулами матери. Я не хочу их видеть. Я бы стерла их лица из памяти, даже если бы мне пришлось выскабливать их физически и тереть мозг наждачной бумагой. Но они смотрят на меня из зеркала даже после смерти. Они всегда будут со мной.

Все говорили моей матери, что она красивая, но её красота, разбавленная на моем лице отцовскими чертами, уже не вызывала такого восторга. Никто не говорил мне, что я уродлива, но у меня был отчим, который донёс до меня эту истину и крепко вбил её в голову. Я не смотрю в зеркало. Лишь время от времени убеждаюсь, что с моим лицом все в порядке, нет ли на нем пятен или остатков еды. Поэтому я никогда не крашусь. Я бы не смогла смотреть на это лицо больше двух минут. Страх, которому меня приучили с детства – сейчас меня накажут за эту «мерзкую рожу и тупой

взгляд» – сразу же, как я натыкаюсь на себя глазами, поднимается из глубин и силой отбрасывает меня от зеркала.

Мне говорят, что я красивая. Говорят часто, много голосов. Но даже если бы они говорили все одновременно, они не смогли бы заглушить голос отчима, въевшийся в мозг. Он накладывается поверх реальности и звучит громче всех, потому что звучит в голове, а все остальные – там, далеко, снаружи.

Я замуриваю глаза и трясую головой, чтобы отбросить воспоминания. И так с каждым зеркалом, каждой витриной, каждым окном – все начинается сначала.

От матери мне остались деньги. Немного. Хватит на первоначальный взнос за ипотечный кредит. На вложение в какое-нибудь прибыльное дело. Деньги должны двигаться, все это говорят. Но если я потрачу их на свой дом или открою, как мечтала, лингвистическую школу, то моя мать, ее кости, силы, ее кровь лягут в фундамент моей жизни и останутся там навсегда. Самое лучшее, что можно сделать с ее деньгами как с последним ее подарком – развеять их по ветру. Как прах. Я бы хотела отпраздновать ее смерть. В конце концов, она была веселой женщиной. Ей бы пришлось по душе, что я стараюсь найти любой повод для праздника. Я делаю как она. Яблоко от яблони.

В тот же день я купила билеты до Парижа.

Всю свою жизнь я жила с отчимом в одном доме, но помню лишь его ноги. Я так и не осмелилась поднять взгляд выше колен. Его пальцы на ногах я помню во всех подробностях, но если бы меня спросили, какого цвета были его глаза, я не смогла бы ответить. Я знаю его лицо по фотографиям – вот он обнимает мою мать, вот он с друзьями, вот он смеется. Я не помню, как звучит его смех. Он – это только ноги. То в туфлях, то в носках, то в домашних тапочках, а выше них – ледяной туман. Ледяной туман, из которого время от времени вдруг показываются руки и колотят меня по голове. Они хватают меня за косы и поднимают над полом. Из тумана на меня сыпется град ударов, а я не смею пошевелиться и убежать – нет смысла, взрослый мужчина легко догонит ребенка. Все, что я могу – закрыться руками и ждать.

Когда человека бьют с раннего детства и никогда не извиняются, не просят прощения, не стыдятся и на следующий день ведут себя так, будто ничего не случилось, то ребенок невольно, как повторяющийся, вдалбливаемый урок, усваивает эти побои как одно из правил жизни, которых нельзя изменить. Наравне с солнцем, ветром, земным притяжением. Ему кажется, если взрослые ведут себя так по отношению к нему, значит, все это чем-то оправдано, чем-то, что он

лишь по глупости не может понять. Оставалось только принять это. Я и не думала сопротивляться. Это просто не приходило мне в голову.

Кажется, что ударов было так много, что они, оставив тело в живых, все-таки забили до смерти какую-то часть меня. Ту, что чувствует боль. Я не могла сбежать от побоев, но я могла сбежать из своего тела. Я довольно быстро научилась абстрагироваться от происходящего и представлять, будто это происходит не со мной, будто это не моё тело. Оно – чужое, далекое, неживое. Это по нему колотили мужские кулаки, это оно страдало и принимало на себя удар, а я пряталась в далекие уголки своего разума, и той хитрой и уцелевшей части меня уже не было больно. Будто я смотрела на себя со стороны, откуда-то из угла комнаты, с потолка, с порога – откуда угодно, только не изнутри. Я сбегала надолго, побои иногда продолжались больше получаса, а потом нужно было сидеть неподвижно, сливаясь с мебелью и полом, чтобы не привлекать его внимание и не наткнуться на новый повод для наказания. Это случалось так часто, что в какой-то момент я просто забыла дорогу обратно. Связь между душой и плотью была потеряна, и я не помню, в какой момент эта часть меня погибла окончательно. Может, когда он ударил меня головой об угол стола или когда швырнул в стену. Само собой, он не хотел этого делать. Я его вынудила. Съела лишний кусок торта, кашляла слишком громко. Такие, как я, должны получать по заслугам.

Тело – это всего лишь мясо, кости и требуха. Он мог догнать его, мог избить, мог пустить кровь – но это уже не со мной, а с тем куском мяса, который намотан на мою душу. Сквозь него он до меня не доберется.

Моя мать – это не только ноги, но еще и спина. Когда она оставляла меня у бабушки (в лучшем случае – у нее, в худшем – у едва знакомых людей) и уходила, на прощание пообещав забрать меня завтра и неизменно забывая об обещании на пару-другую недель, я смотрела на ее спину из окна. Я знала, что завтра она не придет, и пыталась наглядеться на нее на много дней вперед. Я не отрывала глаз от ее фигуры – от белого свитера, от пиджака в клетку, от желтой блузы – но всегда сзади, со спины. Она удалялась, а я стояла позади и ничем не могла привлечь ее внимание. Я могла хорошо учиться, могла рисовать ей картины, могла собирать цветы в саду и осыпать ее лепестками, могла просить – ничто на свете не могло заставить ее повернуться ко мне лицом.

«Мама» – это не только ее спина, но и спины других мужчин. Они загораживали ее плотным, непроницаемым кольцом. Если они поворачивались, то только для того, чтобы отогнать меня или дать мне какой-нибудь подарочек, который предназначался не столько мне, сколько моей матери – им хотелось ее впечатлить.

Не помню, чтобы мы говорили. Я не помню ни одного ее слова.

У нее не было времени учить меня тому, как отличать пло-

хое от хорошего, и я опиралась лишь на свои чувства, словно шла вслепую. Сейчас я чувствую одно: плохо – это она, а хорошо – это то, что ею не является.

Мать была легкомысленна. Она плыла по течению, ничем не управляя, ничего не добиваясь, не планируя, не соскальзывая с поверхности времени и вещей. Глубина – не ее стихия. Это легкая, веселая, хрупкая водомерка. Она всегда была довольна, улыбчива и готова к празднику, а праздник – это алкоголь и мужчины, много мужчин, среди которых она блистает и крутится, как яркая игрушка. Дело не в легком и мягком нраве, а скорее в том, что она ни о чем не задумывалась. Она забывала то, что было еще вчера. Ничего не держалось в этой красивой, задорной головке. Вряд ли она когда-либо понимала, что происходит с ней и людьми. Ее несло потоком, и она повизгивала от удовольствия на особо крутых виражах. Вечные американские горки – иллюзия движения, ветра и скорости по одному и тому же кругу. Внимание мужчин стало для нее мерилom ценности и правильности всей ее жизни. Если она им нравится, значит, она все делает верно.

Она томилась собственным существованием. Ей было необходимо, жизненно необходимо демонстрировать его кому-то другому. Как кукла в театре, которая оживает лишь перед чужими глазами. Такая же разукрашенная и такая же пустая.

Один из множества поклонников, ее муж и мой отчим, полностью содержал ее, поэтому она могла отдаться людям,

их восхищению и взгляду, всем своим существом, не отвлекаясь. Все, чем она хотела заниматься – производить впечатление, и чем неприятнее была публика, тем ближе была ее цель. Она мнила себя Еленой Троянской, ради которой был сожжен целый город, но в основе этого мнения лежал десяток самых простых таксистов, слесарей, алкоголиков – одним словом, обыкновенных ремесленников, а не римских воинов. Все, что они могли сжечь ради нее – свои деньги, свое время и чуть-чуть своей печени во время попок. Но ведь и Трои-то уже нет. Откуда взяться Еленам Троянским. Моя мать была Еленой Со Двора.

Она часами сидела на кухне, рассказывая подругам, на какие жертвы пошли мужчины ради нее, недавно или еще 10 лет назад, а потом, вечерами разыгрывая на той же кухне театральные представления перед теми же мужчинами, копила поводы для будущего хвастовства. Если же она не нравилась тому, кто слишком быстро находил пустоту за яркой оберткой, если ему было скучно с ней, потому что вне постели не о чем было говорить, она называла его импотентом или идиотом.

Если подруги узнавали об этой неудаче, она уверяла их, будто он мстит ей за холодное отношение или отказ. И все равно любит ее.

Вся ее жизнь шла определенным, навеки установленным чередом – мужчины, занятия любовью, ложь мужу, игра с его терпением, игра с терпением других мужчин, а потом исто-

рии на кухне, с хохотом и самолюбованием.

Я служила препятствием в отлаженном ходе этого круга. Она решила не замечать меня. Если круг останавливался, столкнувшись с моим существованием, она предпочитала отодвигать меня носком каблука. Все с той же милой улыбкой, которая должна оставаться привлекательной, как на несмываемом рекламном щите.

Я любила свою мать, но не могла это выразить. Разве можно признаваться в любви спине? Поэтому я скрывала от ее мужа многочисленные измены, делала вид, что сплю, когда наступал нужный момент, и старалась не плакать, не звать ее, когда она глубокой ночью кралась на цыпочках к двери и торжествующе щелкала замком. Она спускалась по лестнице, а я подходила к окну и смотрела, как она уходит по нашему двору. Мамочкина спина. Я верила, что она чувствует, как я смотрю на нее, но она никогда не оборачивалась. Если была зима и ночью лежал снег, я быстро, наспех одевалась и шла за ней. Всегда осторожно, чтобы не помешать ей уходить туда, где ей весело. Я шла по ее следам. Наш городок был маленьким, ночью почти не было прохожих, и, когда мы друг за другом доходили до того дома, где она оставалась, я шла обратно, стараясь попадать ногами в следы её ботинок. Если мне удавалось дойти до самого дома, ни разу не оступившись и не выскользнув за края мамочкиных ботинок на снегу, я радовалась и, открывая дверь в пустую квартиру, напевала или пританцовывала, иногда все вместе,

но тихо-тихо, чтобы не разбудить соседей. Мне было семь.
Самое время для простых, наивных радостей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.